

СОДЕРЖАНИЕ

1. Кошки и философия 7
 - Антифилософ, любивший кошек: Мишель де Монтень 13
 - Путешествие Мео 17
 - Как кошки приручили людей 24
 2. Почему кошки не стремятся изо всех сил быть счастливыми 33
 - Когда философы говорят о счастье 34
 - Паскаль о развлечениях 40
 - Ходж и грехопадение 47
 3. Кошачья этика 54
 - Мораль, особая практика 54
 - Спиноза о том, как жить в гармонии со своей природой 56
 - Самоотверженный эгоизм 70
 4. Любовь человека и любовь кошек 80
 - Триумф Сахи 80
 - Самая большая добыча Мина 83
 - Любовь к Лили 89
 - Гаттино исчезает 93
 5. Время, смерть и кошачья душа 103
 - Прощание с Мури 103
 - Цивилизация как отрицание смерти 107
 - Кошки как боги 115
 6. Кошки и смысл жизни 121
 - Кошачья природа, человеческая природа 122
 - Десять кошачьих советов о том, как жить хорошо 124
 - Мео на подоконнике 127
- Благодарности 129

1. КОШКИ И ФИЛОСОФИЯ

ОДИН философ однажды заявил мне, что его кошка стала веганом. Решив, что он шутит, я спросил его, как ему удалось этого добиться. Он снабжал ее веганскими лакомствами со вкусом мышки? Представил ей других кошек, уже практикующих веганство, в качестве ролевой модели? Или затеял с кошкой дискуссию и убедил ее, что есть мясо — плохо? Мой собеседник не шутил. Я вдруг понял, что он и вправду верит, что кошка сама выбрала рацион без мяса. Поэтому я закончил нашу беседу вопросом: а выпускает ли он свою кошку на улицу? Да, ответил он. Загадка была решена. Кошка просто-напросто подъедалась у других людей и охотилась. Если она приносила домой какие-то останки — практика, к которой этически неразвитые кошки, к сожалению, весьма склонны, — благородный философ умудрялся их не замечать.

Нетрудно себе представить, как кошка, ставшая объектом этого эксперимента в области морального воспитания, должна была смотреть на своего наставника. Недоумение, вызванное поведением философа, вскоре должно было смениться у нее безразличием. Кошки, редко делающие что-то без определенной цели или не ради сиюминутного удовольствия, — большие реалисты. Если они сталкиваются с человеческим безумием, они просто отходят в сторону.

Философ, считавший, что убедил свою кошку отказаться от мяса, только продемонстрировал, насколько глупыми могут быть философы. Вместо того что-

бы учить свою кошку, лучше бы он поучился у нее сам. Люди не могут стать кошками. Но если они отбросят идею, что они — высшие существа, они смогут понять, как кошки могут жить припеваючи, не терзая себя вопросами о том, как жить.

Кошкам не нужна философия. Подчиняясь своей природе, они довольствуются той жизнью, которую она им дает. В случае же с людьми неудовлетворенность своей природой кажется естественной. Человеческое животное никогда не перестает стремиться быть чем-то, чем оно не является, а это неизбежно ведет либо к трагедии, либо к фарсу. Кошки ни к чему такому не стремятся. Человеческая жизнь — это преимущественно борьба за счастье. У кошек же счастье — состояние, данное по умолчанию, если нет практических угроз их благополучию. Возможно, именно поэтому многие из нас так любят кошек. Они по праву рождения наделены счастьем, которого люди, как выясняется сплошь и рядом, достичь не в состоянии.

Источник философии — тревога, кошки же не страдают тревожностью, если только не сталкиваются с прямой опасностью или не оказываются в странном месте. Для людей сам мир — опасное и странное место. Религия — это попытка сделать нечеловеческую вселенную пригодной для жизни людей. Философы часто презрительно отмахивались от этих представлений на том основании, что они значительно уступают их собственным метафизическим выкладкам, но религия и философия служат одной и той же цели¹. Обе стараются подавить неутихающее беспокойство, не отделимое от человеческой природы.

Люди простодушные скажут, что кошки не практикуют философию, потому что лишены абстрактно-

1. Я обсуждал эти взгляды на религию в: John Gray, *Seven Types of Atheism* (London: Penguin Books, 2019), p. 9–144.

го мышления. Однако можно представить себе вид кошек, который имел бы такую способность, но при этом жил бы в мире с такой же легкостью. Если бы эти кошки обратились к философии, она походила бы на забавное ответвление фантастической литературы. Эти кошки-философы не стали бы смотреть на нее как на лекарство от тревоги, они включились бы в своеобразную игру.

Отсутствие у кошек абстрактного мышления — не признак их неполноценности. Наоборот, это признак свободы ума. Мышление посредством обобщений быстро скатывается в суеверную одержимость языком. Немалая часть истории философии была связана с поклонением языковой функции. Кошки, полагающиеся на то, что они могут потрогать, понюхать и увидеть, не подчиняются власти слов.

Философия дает много свидетельств хрупкости человеческого ума. Люди философствуют по той же причине, по которой молятся. Они знают, что смысл, который они придумали для своей жизни, хрупок и может в любую минуту разрушиться. Смерть — предельное разрушение смысла, так как она означает конец любой истории, которую люди себе рассказывали. Поэтому люди представляют себе переход к жизни вне тела в мире, пребывающем вне времени, и продолжение человеческой истории уже там.

На протяжении всей истории философия была поиском истин, которые могли бы послужить аргументом против смерти. Платоновское учение о формах — неизменных идеях, существующих в царстве вечного, — было мистической версией этих поисков, в которой человеческие ценности получали гарантию, несмотря на смерть. Кошки, не задумывающиеся о смерти, но, кажется, прекрасно знающие, когда подходит время умирать, не нуждаются в этих сказках. Если бы они и могли понять философию, она ничему бы их не научила.

Небольшое число философов признавали, что у кошек можно кое-чему научиться. Немецкий философ XIX века Артур Шопенгауэр (род. 1788) был известен любовью к пуделям, в его поздние годы они сменяли друг друга один за другим и все носили одинаковые имена — Аتما или Буц. У него также была по крайней мере одна кошка-компаньон. Когда в 1860 году он умер от инфаркта, его нашли дома на диване, рядом с ним была кошка, имя которой не сохранилось.

Шопенгауэр использовал своих домашних питомцев как доказательство теории о том, что «я» — это иллюзия. Люди не могут не думать о кошках как об отдельных индивидах, таких же, как они сами. Но это ошибка, полагал он, поскольку и те и другие — пример платоновской формы, архетипа, возникающего в самых разных воплощениях. В конце концов каждый из этих мнимых индивидов — эфемерное воплощение чего-то более фундаментального, а именно неумолимой воли к жизни, которая, согласно Шопенгауэру, одна только по-настоящему и существует.

Он говорит об этой своей теории в «Мире как воле и представлении»:

Я знаю, если я стану серьезно уверять кого-нибудь, что кошка, которая в эту минуту играет во дворе, — это все та же самая кошка, которая три столетия назад выделявала те же шаловливые прыжки, то меня сочтут безумным; но я знаю и то, что гораздо безумнее полагать, будто нынешняя кошка совсем-совсем другая, нежели та, которая жила триста лет назад. [...] Ибо в известном смысле, разумеется, верно, что в каждом индивиде мы имеем каждый раз другое существо, именно в том смысле, который заключается в законе основания; которому подчинены также и время, и пространство, составляющие *principium individuationis*. Но в другом смысле это неверно, а именно в том, согласно которому реальность присуща только устойчивым формам вещей, идеям

и который для Платона был так ясен, что сделался его основной мыслью².

В том, что Шопенгауэр видит в кошках Вечную Кошку, есть определенное очарование. Но когда я вспоминаю кошек, которых мне довелось знать, первое, что приходит мне в голову, — насколько все они разные. Одни кошки склонны к созерцанию и спокойны, другие — крайне игривы; одни осторожны, другие — безрассудные авантюристы; одни тихие и мирные, другие — шумные и навязчивые. У каждой свои собственные вкусы, привычки и индивидуальность.

Кошки наделены природой, отличающей их от других существ — не в последнюю очередь нас самих. Природа кошек и то, чему она может нас научить, — предмет этой книги. Однако никто из тех, у кого были кошки, не может видеть в них взаимозаменяемые проявления одного-единственного типа. Каждая из них имеет уникальную индивидуальность и индивидуальна даже в большей степени, чем многие люди.

И все-таки Шопенгауэр смотрел на животных более человечно, чем другие великие философы. По некоторым сообщениям, Рене Декарт (1596–1650) выкинул кошку из окна для того, чтобы продемонстрировать отсутствие сознания у нечеловеческих животных; ее испуганные вопли были механическими реакциями, заключил он. Декарт также проводил эксперименты на собаках: он хлестал одну собаку плетью, пока рядом играли на скрипке. Так он хотел выяснить, не будет ли животное в дальнейшем пугаться звука скрипки — и оно действительно его пугалось.

2. Arthur Schopenhauer, *The World as Will and Representation*, vol. 2, translated by E.F.J. Payne (New York: Dover Publications, 1966), p. 482–483; Артур Шопенгауэр, «Мир как воля и представление», в: Артур Шопенгауэр, *Собрание сочинений: в 6 т.* (Москва: Терра, 2001), т. 2, с. 402.

Декарт придумал фразу «Я мыслю — значит, я существую». Она подразумевает, что люди — это главным образом сознание и лишь по чистой случайности физические организмы. Декарт хотел, чтобы его философия основывалась на систематическом сомнении. Но он даже не подумал оспаривать христианскую догму, отказывавшую животным в наличии души: он заново ее повторил в своей рационалистической философии. Декарт полагал, что его эксперименты доказывают, что нечеловеческие животные — бесчувственные машины. На самом деле они доказали только то, что люди могут быть безразсуднее любого другого животного.

Сознание может возникать у многих живых существ. Одна линия естественного отбора привела к людям, другая — к осьминогам. И в том и в другом случае не было никакой предопределенности. Эволюция не движется в сторону более сознательных форм жизни. Зарождаюсь случайно, сознание у организмов, которые им наделяются, появляется и исчезает³. Трансгуманисты XXI века полагают, что эволюция ведет к полностью осознающему себя космическому разуму. У подобных взглядов были предтечи в теософии, оккультизме и спиритуализме XX века⁴. Теория Дарвина не дает оснований для подобных выводов. Самосознание людей может быть случайным везением⁵.

3. См.: Peter Godfrey-Smith, *Other Minds: The Octopus and the Evolution of Intelligent Life* (London: William Collins, 2017), p. 77–105 (Chapter 4, «From White Noise to Consciousness»); Питер Годфри-Смит, *Чужой разум. Осьминоги, море и глубинные истоки сознания* (Москва: АСТ, 2020), с. 80–108 (глава 4, «От белого шума к сознанию»).
4. Я рассматриваю эти идеи космической эволюции в: John Gray, *The Immortalization Commission: The Strange Quest to Cheat Death* (London: Penguin Books, 2012), p. 213–219.
5. Касательно того, что люди могут быть единственными существами с сознанием во всем космосе см.: James Lovelock, *Novasene: The Coming Age of Hyperintelligence* (London: Allen Lane, 2019), p. 3–5; Джеймс Лавлок, *Новациен. Грядущая эпоха сверхразума* (Санкт-Петер-

Этот вывод может показаться довольно мрачным. Но почему самосознание должно быть самой главной ценностью? Сознание сильно переоценено. Мир света и тени, который время от времени производит полусознающие существа, интереснее и больше пригоден для жизни, чем тот, что купается в непрерывном сиянии своей рефлексии.

Обратившись на себя, сознание становится помехой на пути к хорошей жизни. Самосознание расщепило разум человека в непрерывных попытках вытеснить болезненный опыт в отдельную область, где он был бы изолирован от осознания. Подавленная боль прорывается наружу вопросами о смысле жизни. У кошки же ум един и неделим. Боль переживается и забывается, радость жизни возвращается. Кошкам не нужно изучать свою жизнь, потому что они не сомневаются в том, что жизнь стоит того, чтобы жить. Человеческое самосознание порождает постоянное беспокойство, от которого тщетно пытается излечить философия.

*Антифилософ, любивший кошек:
Мишель де Монтень*

Более глубокое понимание кошек, а также пределов философии продемонстрировал Мишель де Монтень (1533–1592), писавший: «Когда я играю со своей кошкой, кто знает, не забавляется ли скорее она мною, нежели я ею!»⁶

Монтеня часто описывают как одного из основоположников гуманизма — течения, поставившего це-

бург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022), с. 15–17.

6. Michel de Montaigne, *An Apology for Raymond Sebond*, translated and edited by M. A. Screech (London: Penguin Books, 1993), p. 17; Мишель Монтень, «Апология Раймунда Сабундского», в: Мишель Монтень, *Опыты*: в 3 кн. Кн. 1–2. (Москва: Наука, 1979), с. 392.

лью отбросить любую идею Бога. На самом деле к роду человеческому он относился так же скептически, как и к Богу: «Человек — самое злополучное и хрупкое создание и тем не менее самое высокомерное». Глядя на философии прошлого, он не находил ни одной, которая могла бы заменить знание о том, как следует жить, имеющееся у животных. «На этом основании они также вправе считать нас животными, как мы их»⁷. Другие животные стоят выше человека, поскольку обладают врожденным пониманием того, как нужно жить. Здесь Монтень отступал от христианской веры и основных традиций западной философии.

Во времена Монтеня быть скептиком было опасно. Францию, как и другие европейские страны, раздирали религиозные войны. Монтень оказался втянут в них, когда вслед за своим отцом стал мэром Бордо и продолжил выступать посредником между враждующими католиками и протестантами и после того, как в 1570 году удалился от мира в свой кабинет. В роду Монтеня были мараны — иберийские евреи, которые из-за угрозы преследований со стороны церкви вынуждены были принять христианство, и, когда он выступал в своих сочинениях в поддержку церкви, он, возможно, хотел обезопасить себя от репрессий, от которых они пострадали. В то же время Монтень принадлежит к традиции мыслителей, готовых принять веру, поскольку они усомнились в возможностях разума.

Древнегреческий скептицизм был заново открыт в Европе в XV веке. Монтень подпал под влияние самого радикального его течения — пирронизма, названного в честь Пиррона Элийского (ок. 360–270 до н. э.), который вместе с армией Александра Македонского ходил в Индию, где якобы учился у гимнософистов («обна-

7. Montaigne, *Apology for Raymond Sebond*, pp. 16, 17; Монтень, «Апология Раймунда Сабундского», с. 393.

женных мудрецов»), или йогов. Вероятно, у этих мудрецов Пиррон перенял идею о том, что цель философии — *атараксия*, особое состояние безмятежности. Возможно, он первым использовал этот термин. Приостанавливая веру и сомнение, философ-скептик может защитить себя от внутреннего беспокойства.

Монтень многому научился у пирронизма. К балкам своей башни, куда он удалился в свои поздние годы, он прикрепил цитаты из последователя Пиррона, философа Секста Эмпирика (ок. 160–210 до н. э.), автора «Пирроновых положений», где кратко излагается мировоззрение скептика:

Мы утверждаем, что начало и причина скепсиса лежат в надежде на невозмутимость. Именно богато одаренные от природы люди, смущаясь неравенством среди вещей и недоумевая, которым из них отдать предпочтение, дошли до искания того, что в вещах истинно и что ложно, чтобы после этого разбора достигнуть состояния невозмутимости⁸.

Но Монтень задавался вопросом о том, может ли философия, даже философия в духе Пиррона, избавить разум человека от треволнений. Во многих своих эссе — термин, придуманный Монтенем, идущий от французского *essais*, что означает пробы или попытки, — он использовал пирронизм как опору для веры.

Согласно Пиррону, ничего знать нельзя. Как это формулирует Монтень: «Бич человека — воображаемое знание»⁹. Пиррон учил учеников жить, полагаясь на природу, а не на доводы рассудка или принципы.

8. Sextus Empiricus, *Outlines of Scepticism*, edited by Julia Annas and Jonathan Barnes (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), pp. 5–6; Секст Эмпирик, «Три книги Пирроновых положений», в: Секст Эмпирик, *Сочинения: в 2 т.* (Москва: Мысль, 1976), т. 2, с. 209.

9. Montaigne, *Apology for Raymond Sebond*, p. 53; Монтень, «Апология Раймунда Сабундского», с. 425.

Но если рассудок бессилён, то почему бы тогда не принять тайны религии?

Все три ведущие философские школы в древней Европе — стоицизм, эпикурейство и скептицизм — в качестве цели ставили достижение невозмутимости. Философия была успокоительным лекарством, которое, если принимать его регулярно, произведёт атараксию. Конечной целью философствования был мир в душе. Монтень не питал подобных надежд: «Философы всех школ согласны в том, что высшее благо состоит в спокойствии души и тела. Но где его найдешь? [...] Наш удел — лишь дым и пепел»¹⁰.

Большой скептик, чем большинство скептиков, Монтень не верил, что философствование может излечить человека от беспокойства. Философия главным образом была полезна для того, чтобы излечивать людей от философии. Как и Людвиг Витгенштейн (1889–1951), Монтень признавал, что обыденный язык замусорен остатками прошлых метафизических систем¹¹. Обнаружив эти следы и признав, что реалии, которые они описывают, по сути дела выдумка, мы смогли бы мыслить более гибко. В небольших дозах такое средство против философии — назовем его антифилософией — может приблизить нас к другим животным. Тогда мы могли бы кое-чему научиться у существ, которых философы не принимали во внимание как низших тварей.

Такого рода антифилософия начнется не с доводов разума, а с рассказа.

10. Montaigne, *Apology for Raymond Sebond*, p. 54; Монтень, «Апология Раймунда Сабундского», с. 425.

11. Идею о гомеопатической философии/антифилософии см. в: K. T. Fann, *Wittgenstein's Conception of Philosophy* (Singapore: Partridge Publishing, 2015). В Приложении Фанн исследует некоторое сходство между поздним творчеством Витгенштейна и даосизмом (p. 99–114). Скептицизм Монтеня в отношении философии объясняется в: Hugo Friedrich, *Montaigne*, edited with an introduction by Philippe Desan, translated by Dawn Eng (Berkeley, CA: University of California Press, 1991), p. 301–309.

На фоне резкого света, идущего из дверного проема, показался маленький черный силуэт кошки. Снаружи бушевала война. Дело происходило во вьетнамском городе Хюэ, в феврале 1968 года, в самом начале Тетского наступления Северного Вьетнама на американские силы и их союзников из Южного Вьетнама, которое пять лет спустя приведет к тому, что американцы выведут свои войска из страны. В книге «Кот из Хюэ», одном из самых выдающихся свидетельств о жизни человека на войне, тележурналист CBS Джон (Джек) Лоренс так описывал город:

Хюэ сражался особенно ожесточенно. В данном случае речь шла об уличной войне между двумя вооруженными и состоящими преимущественно из молодежи племенами. Оба они не были местными и оба намеревались во что бы то ни стало захватить территорию. Это были уличные бои, быстрые и беспощадно кровавые. Правил не существовало. Жизнь забирали, не задумываясь... В конце одна более жестокая и могущественная банда вытесняла другую и присваивала все, что осталось. Проигравшие отходили, забирая раненых и погибших, и ждали следующего дня, чтобы продолжить бой. Победителям доставались руины. Так это было в Хюэ¹².

Продолжая двигаться, черный силуэт превратился в котенка, приблизительно двух месяцев от роду, настолько крошечного, что он мог бы поместиться у Лоренса в руке. Тощий и грязный, со слипшейся тусклой шерстью, котенок принюхался, почувствовав запах еды, которую американский журналист ел из армейской консервной банки. Журналист попытался заговорить

12. John Laurence, *The Cat from Hué: A Vietnam War Story* (New York: PublicAffairs, 2002), p. 23.

с котенком по-вьетнамски, тот посмотрел на него как на сумасшедшего. Он предложил котенку немного еды, котенок осторожно к ней подошел, но притрагиваться не стал. Оставив еду, американец ушел и вернулся на следующий день. Котенок снова появился в дверном проеме, осмотрелся и подошел к нему, обнюхал протянутые журналистом пальцы. У него осталась только одна банка под названием «Мясные слайсы», которую он открыл и предложил котенку. Котенок ел жадно, заглатывал пластины вареного мяса, не жуя. Затем американец намочил полотенце водой из походной фляги и, придерживая котенка, вытер грязь и вынул блох из ушей, промыл ему пасть, отмыл мордочку и усы. Котенок не сопротивлялся, а когда мытье закончилось, облизал мех на передней лапе и умылся. После этого он подошел к американцу и лизнул ему руку.

Прибыл джип, и Джек понял, что он возвращается домой. Он посадил котенка в карман, и так началась их дружба: из Хьюэ они перебрались на вертолете в Дананг, где котенок, которого теперь звали Мео, жил в отсеке для прессы и сытно питался пять-шесть раз в день. По дороге Мео разорвал ткань куртки Джека и попытался сбежать, отправившись исследовать кабину вертолета и взобравшись на ремни пилота. Они поехали в Сайгон, и на этот раз Мео путешествовал в картонной коробке вместе со своим одеялом и игрушками, поэтому не мог выбраться в салон и всю дорогу истошно вопил. Они остановились в гостинице, где Мео помыли, несмотря на его ожесточенное сопротивление. Его шерсть, казавшаяся черной, была невольной маскировкой: на самом деле он был метисом, рыжим сиамцем с ярко-голубыми глазами.

В гостинице Мео регулярно, четыре раза в день, кормили рыбьими головами и остатками риса с кухни, хотя он залезал в другие номера в поисках дополнительного пропитания. Он прыгал на подоконник гостиничного

номера и лежал там часами, все время настороже и почти не двигаясь. Он наблюдал за передвижениями людей, огней и машин внизу. Чтобы пережить опыт войны, американские журналисты обкуривались, устраивали попойки, а потом вырубались и вскакивали от кошмаров. Время от времени они ездили на побывку домой, но война ездила вместе с ними и продолжала тревожить их сон. Мео же «казалось, понимал происходящее лучше любого из нас... И это давало ему свободу, даже в плену. Когда он сидел у открытого окна... окутанный тонким облаком сигаретного дыма, его глаза были такими же глубокими, синими и божественными, как Южно-Китайское море»¹³.

Спал он в бункере, который выбрал себе сам, в большой картонной коробке, где он прогрыз дыру (у него ушла на это неделя) — достаточно большую, чтобы он мог в нее протиснуться. Он гонял дюжину диких кошек, живших на территории отеля, которые научились его избегать, и использовал сад и гостиничные номера как свои охотничьи угодья, где ловил и ел ящериц, голубей, насекомых и змей; возможно, он изловил и павлина, исчезнувшего таинственным образом. Зубы у него были острые как кинжалы, он был «маленьким белым охотником, прирожденным убийцей, в засаде ждущим своего часа»¹⁴. Он враждебно относился ко всем, кроме вьетнамцев, работавших в отеле и кормивших его, — ко всем, кто заходил в номер, особенно к американцам. «Казалось, что он затаил обиду на людей... Замкнутый и скрытный, враждебный ко всем, кроме вьетнамцев, он был злобным диким животным, особенно таинственным и загадочным котом»¹⁵.

13. Laurence, *The Cat from Hué*, p. 496.

14. *Ibid.*, p. 489.

15. *Ibid.*, p. 485.

Он ничего не боялся и ни разу не попался, когда залезал в чужие номера. Джек начал видеть в нем воплощение Сунь-цзы, автора «Искусства войны»: «Умный, дерзкий, хитроумный, свирепый ... вьетконговский вариант китайского воина-философа в теле кота... Совсем молодой кот, он был крутым, независимым, вспыльчивым. Он был похож на солдата и безмятежен. Дзенский воин в белом меху ... Безрассудство было частью его очарования... Прогуливаясь по карнизу отеля, нападая на животных крупнее себя, устраивая засады со злобным коварством, он рисковал жизнью с бесстрашной непринужденностью победителя... Он никогда не нервничал и не тратил зря энергию. Его движения были плавными, неуловимо-загадочными»¹⁶.

Подобрав Мео, Джек понял, что сделал это для утверждения жизни в ситуации, когда она уничтожалась в гигантских масштабах:

Давая приют и пищу коту, я утверждал, что жизнь, пусть малая и незначительная, имеет значение в самый разгар резни. Это делалось бессознательно. Я был молод и не задумывался о мотивах своих поступков. В то время мне казалось, что так и надо. Хотя мы с Мео смотрели друг на друга как на врагов, мы начали странным образом зависеть друг от друга — просто потому, что были рядом, в нашей вражде была некая надежность. Когда я возвращался в номер из поездки на передовую и слышал, как он возится в своем бункере, или пьет воду из крана в ванной, или роняет что-то со стола, это было как вернуться домой, почувствовать себя в безопасности. Его беспричинные нападения на меня случались реже, стали менее свирепыми, больше походили на ритуал. От того, что мы вместе прошли через Хюэ, между нами, по-видимому, образовалась связь. Забота о нем давала мне хотя бы небольшую постороннюю цель, помимо непрерывной трансляции ужасов войны¹⁷.

16. Laurence, *The Cat from Hué*, p. 491, 498–499.

17. *Ibid.*, p. 498.

В мае 1968-го Джек вернулся домой, а Мео отправил в грузовом отсеке другим рейсом. Если бы Мео остался в Сайгоне, он, скорее всего, оказался бы среди других животных, ставших жертвами войны, — неизвестного числа собак, обезьян, буйволов, слонов, тигров и кошек, погибших в ходе конфликта. Если бы Вьетконг провел еще одно наступление, началась бы нехватка продовольствия. Мео вполне могли бы сварить и съесть. Поэтому Джек отвез его в Сайгонский зоопарк, который стоял полупустым, потому что некоторые животные умерли от голода во время предыдущего наступления и посетители туда больше не ходили. Там Мео сделали прививки, необходимые для получения разрешения на выезд. Через несколько дней он, шипя и царапаясь, отправился в тридцатичасовое путешествие в Нью-Йорк. Когда Джек забрал его и выпустил в салоне машины, кот вскочил на приборную панель, залез ему на плечо, все обнюхал и принялся смотреть на проходящие машины. Прибыв в дом матери Джека в Коннектикуте, он съел целую банку американского тунца.

Мео хорошо устроился в своем новом доме, распугал других кошек, охотился, кидался на незнакомых взрослых и мило играл с местными детьми. Семья тоже привыкла к нему. Он пугался звука пылесоса, который мог напоминать ему грохот танка или рев самолета, поэтому, когда он был поблизости, пылесосом не пользовались. После того как Мео накинулся на экономку, та уволилась. Когда он исчез, мать Джека искала его несколько дней, пока не нашла в коробке в гараже, куда он залез, судя по всему, после того, как попал под машину.

Вердикт ветеринара был неутешительным. У Мео было раздроблено плечо, и ему нужна была дорогая операция в ветеринарной клинике. Тем не менее спустя шесть недель он вернулся в дом матери Джека, где заново исследовал свои любимые места и зажил прежней жизнью — лазил по деревьям, спал на солнце и охотился. Его

хорошее самочувствие продолжалось до тех пор, пока сильное чихание и потеря аппетита не сигнализировали о пневмонии, из-за которой он снова попал в больницу еще на три недели. Запрещенные лакомства проносились тайком, и весь персонал клиники обращался с ним очень бережно. На этот раз Мео полностью выздоровел, хотя привычка чихать осталась у него до конца жизни.

Поправившись, Мео уехал из Коннектикута, чтобы присоединиться к Джеку в квартире с одной спальней в браунстоуне на Манхэттене, где тот жил со своей женой Джой. В 1970 году Джек на месяц снова уехал во Вьетнам, и Мео, кажется, скучал по нему. Когда Джек вернулся, Мео его проигнорировал. Он тщательно обнюхал его багаж, как будто он ему о чем-то напомнил. Джек подарил ему игрушку из Сайгона, но кот ее тоже проигнорировал, пошел в бункер и провел оставшуюся часть дня там. Вечером, однако, по словам Джой, Мео забрался к Джеку на кровать, сел в изголовье и несколько часов смотрел на его лицо, пока тот спал.

Вернувшись в Америку, Джек вспоминал о времени, проведенном во Вьетнаме с волнением и ужасом. Он боролся со своими кошмарами при помощи наркотиков и алкоголя. К началу 1970-х Нью-Йорк стал опасным местом, и временами Джеку казалось, что он снова очутился в зоне боевых действий. Когда освободилось место корреспондента в Лондоне, он предложил свою кандидатуру. Мео последовал за Джеком и Джой в Лондон, где у пары родились две дочери. Мео пришлось просидеть полгода в карантине, этой пытки он никогда не забудет и не простит, хотя Джек и Джой регулярно его навещали. Когда Мео снова начал с ними жить, он стал еще более диким, чем раньше, вовсю драл их лондонскую квартиру. Во сне он порой напрягался и трясся, «как будто... сражался с призраками»¹⁸.

18. Laurence, *The Cat from Hué*, p. 820.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru